



ГЛАВА I

Мастерскую наполнял густой аромат роз, а когда легкий летний ветерок шевелил садовые деревья, в открытую дверь веяло то тяжелым запахом сирени, то более тонким благоуханием розовых цветов боярышника.

Из угла крытой персидским ковром оттоманки, на которой лежал лорд Генри Уоттон, куря, по своему обыкновению, бесчисленные папиросы, был виден лишь яркий проблеск куста раkitника, покрытого золотисто-желтыми и душистыми, как мед, цветами, и казалось, что подрагивающие ветви едва выдерживают тяжесть этой пылающей красоты. Иногда по длинным чесучовым занавесям, закрывающим огромное окно, порхали фантастические тени птиц, на мгновение создавая впечатление японской картины, что наводило лежащего на мысль о токийских художниках с блеклыми, нефритовыми лицами: средствами искусства, по природе своей неподвижного, те пытались передать ощущение быстроты и движения. Негромкое жужжание пчел, пробивающих себе путь сквозь высокую некошеную траву или кружащихся с монотонной настойчивостью вокруг пыльных, подобных золотистым рожкам соцветий раскидистой жимолости, делало ощущение оцепенелости еще более гнетущим. Глухой шум со стороны Лондона звучал как басовая нота далекого органа.

В центре комнаты на мольберте стоял писанный во весь рост портрет молодого человека редкой красоты, а перед ним на некотором расстоянии сидел и сам художник Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад вызвало столь бурную реакцию в обществе и дало пищу для многих невероятных предположений.

Когда художник взглянул на изящный, притягательный образ, так искусно переданный им на холсте, по его лицу скользнула довольная улыбка, готовая, казалось бы, там задержаться. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, дотронулся пальцами до век, словно хотел удержать в своем сознании какой-то удивительный сон и боялся проснуться.

— Это твоя лучшая работа, Бэзил, самое лучшее из всего, что ты создал, — лениво протянул лорд Генри. — Ты непременно должен отправить





ее на будущий год в Гроувенор¹. В Академии слишком много пространства и пошлости. Как ни пойду туда, там или чересчур много народа и потому невозможно разглядеть картины, что отвратительно, или чересчур много картин и потому невозможно разглядеть людей, что еще хуже. Право же, Гроувенор — единственное достойное место.

— Не думаю, что я вообще ее куда-нибудь пошлю, — ответил художник, по привычке как-то нелепо откинув назад голову, из-за чего приятели потешались над ним в Оксфорде. — Нет, никуда я ее не пошлю.

Лорд Генри вскинул брови и посмотрел на него с изумлением сквозь прозрачно-голубые струйки дыма, завивавшиеся причудливыми кольцами от его изрядно сдобренной опиумом папиросы.

— Никуда не пошлешь? Но, дорогой друг, почему? По какой причине? Станные вы люди, художники! Из кожи вон лезете, чтобы добиться признания. А добившись, похоже, тут же стремитесь от него избавиться. Очень глупо с твоей стороны, ибо на всем свете только одно может быть хуже популярности — это отсутствие популярности. Такой портрет вознесет тебя над всеми молодыми художниками Англии и вызовет зависть у стариков, если старики вообще способны испытывать чувства.

— Знаю, ты будешь надо мной смеяться, — ответил Бэзил, — но я не могу его выставить. Я вложил в него слишком много самого себя.

Лорд Генри вытянулся на оттоманке и расхохотался.

— Да, я не сомневался, что тебя это рассмешит. И все же то, что я сказал, правда.

— Слишком много самого себя! Честное слово, Бэзил, я и думать не мог, что ты так тщеславен! К тому же я не вижу между вами никакого сходства: ты с твоим грубым, волевым лицом и черными как уголь волосами и этот юный Адонис, словно выточенный из слоновой кости с добавлением розовых лепестков. Что ты, мой милый Бэзил, да ведь он просто Нарцисс! А ты... конечно, тебе присуща интеллектуальная выразительность и прочие качества. Но красота, подлинная красота, начинается там, где кончается интеллектуальная выразительность. Интеллект сам по себе есть некое преувеличение, он нарушает гармонию любого лица. В тот момент, когда человек усаживается в кресло и принимается думать, он весь превращается в собственный нос или лоб или во что-то иное, но все равно весьма отвратительное. Взгляни на тех, кто достиг успеха в любой ученой профессии. Как они все уродливы! Кроме, разумеется, церковников. Но в церкви думать не положено. Восьмидесятилетний епископ продолжает талдычить то же самое, что ему было предписано говорить восемнадцатилетним юнцом, и совершенно естественно, что по этой причине он всегда выглядит исключительно благообразно. Твой таинственный молодой друг, чье имя ты все никак мне не назовешь, но чей портрет поистине меня завораживает, никогда не погружается в раздумья. Я чувствую, что это именно так. Он пустое и прекрасное создание, которое всегда должно находиться здесь зимою,





когда для любования у нас нет цветов, и летом, когда нам надо охладить свой разгоряченный ум. Не лъсти себе, Бэзил, ты совершенно на него не похож.

— Ты меня не понял, Гарри, — ответил художник. — Конечно, я на него не похож. Я и сам это прекрасно понимаю. Да мне бы и не хотелось быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами? Однако я говорю правду. Есть нечто роковое в физическом или интеллектуальном отличии от других людей; по-видимому, такой же рок на протяжении всей истории неотступно сопровождает неверные шаги королей. Куда как лучше ничем не выделяться на фоне своих собратьев. В нашем мире спокойнее всего живется некрасивым и глупым. Им дано, удобно усевшись и разинув рот, смотреть представление. Если они ничего не знают о победе, то, по крайней мере, лишены понимания того, что такое поражение. Они живут так, как нам всем следовало бы жить, — тихо, спокойно и безучастно. Они не несут гибель другим и сами не принимают ее от вражеской руки. Твой титул и богатство, Гарри, мой ум, какой ни есть, мое искусство, если оно чего-то стоит, красота Дориана Грея — все это дано нам богами. За все это мы обречены страдать, и страдать ужасно.

— Дориан Грей? Значит, так его зовут? — спросил лорд Генри, подходя к Бэзилу Холлуорду.

— Да, так. Правда, я не хотел тебе говорить.

— Но почему?

— Как бы тебе объяснить... Когда мне очень нравится какой-нибудь человек, я никому не называю его имя. В раскрытии имени отчасти присутствует предательство. Я привык ценить тайну. Мне кажется, это то, что делает нашу современную жизнь загадочной и удивительной. Самая обычная вещь становится восхитительной, стоит только ее спрятать. Уезжая из города, я никогда не говорю родным, куда направляюсь. Если бы сказал, потерял бы все удовольствие от поездки. Глупая привычка, признаюсь, но она вносит в мою жизнь немало романтики. Наверное, ты теперь сочтешь меня глупцом?

— Вовсе нет, — сказал лорд Генри, — вовсе нет, мой дорогой Бэзил. Похоже, ты забываешь, что я женат, а одна из приятных сторон брака состоит в том, что обман абсолютно необходим в жизни обеих сторон. Я никогда не знаю, где моя жена, а она никогда не имеет понятия, что делаю я. При встрече — а мы иногда все же встречаемся, когда обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, — мы рассказываем друг другу совершенно немыслимые истории с абсолютно серьезными лицами. У моей жены это очень хорошо получается; честно говоря, гораздо лучше, чем у меня. В отличие от меня она никогда не путается в датах. Но, раскрыв мой обман, жена не устраивает сцен, хотя иногда я был бы даже не против. Она смеется надо мною, и только.

— Мне не нравится, как ты говоришь о своем браке, Генри, — сказал Бэзил Холлуорд, направляясь к двери, ведущей в сад. — По-моему,

на самом деле ты очень хороший муж, но ужасно стыдишься своих добрых качеств. Ты человек необыкновенный. Ты никогда не скажешь ничего в защиту нравственности, однако никогда и не поступаешь дурно. Твой цинизм — это просто поза.

— Просто поза — это вести себя естественно. И кстати, поза чрезвычайно неприятная! — смеясь, воскликнул лорд Генри, и оба молодых человека вышли в сад, где удобно устроились на длинной бамбуковой скамье, стоявшей в тени высокого лаврового куста. Солнечный свет скользил по гладким, словно полированным, листьям. В траве трепетали маргаритки.

Помолчав, лорд Генри достал часы.

— Боюсь, мне пора, Бэзил, — тихо сказал он, — но прежде я очень хочу получить ответ на вопрос, который я не так давно тебе задал.

— Что за вопрос? — произнес художник, не поднимая глаз от земли.

— Ты прекрасно знаешь.

— Нет, не знаю, Генри.

— Ну тогда повторю. Мне хочется получить объяснение, почему ты не желаешь выставлять портрет Дориана Грея. Мне нужна настоящая причина.

— Я уже назвал тебе настоящую причину.

— Ничего подобного. Ты сказал, будто причина в том, что ты вложил в него слишком много самого себя. Но, послушай, это же ребячество.

— Гарри, — проговорил Бэзил Холлуорд, глядя собеседнику прямо в глаза, — любой портрет, написанный с чувством, становится портретом художника, а не модели. Модель — это всего лишь случайность, произвольность. Вовсе не модель раскрывает художник. Скорее на покрытом красками холсте он раскрывает себя. Причина, по которой я не выставлю портрет, кроется в том, что, боюсь, я обнажил в нем тайну своей души.

Лорд Генри рассмеялся.

— И в чем же она? — спросил он.

— Я объясню, — сказал Холлуорд, но лицо его приняло озадаченное выражение.

— Сгораю от нетерпения, Бэзил, — отозвался лорд Генри, бросив взгляд на своего приятеля.

— Да тут почти нечего объяснять, Гарри, — ответил художник. — И я опасаюсь, что ты вряд ли меня поймешь. Даже, возможно, не поверишь.

Улыбнувшись, лорд Генри наклонился, сорвал в траве розовую маргаритку и принялся ее разглядывать.

— Ничуть не сомневаюсь, что пойму, — проговорил он, внимательно изучая маленькую золотистую сердцевину и окаймлявшие ее белые лепестки-пушинки. — А насчет того, поверю я или нет, то я готов поверить во что угодно, лишь бы это было совершенно невероятно.

Задул ветерок, несколько цветов слетели с деревьев, в истомленном воздухе качнулись туда-сюда тяжелые кисти сирени со скоплением





мелких звездочек. У стены застрекотал кузнечик, и, подобно голубой ниточке, на своих дымно-коричневых крылышках мимо проскользнула длинная и тонкая стрекоза. Лорду Генри показалось, что он слышит, как стучит сердце Бэзила Холлуорда, и он с нетерпением ждал, что тот скажет.

— История проста, — немного помолчав, заговорил художник. — Два месяца назад я был на рауте у леди Брэндон. Как тебе известно, нам, бедным художникам, приходится время от времени появляться в обществе, чтобы напомнить публике, что мы не совсем одичали. Как ты однажды заметил, во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, обретет репутацию человека цивилизованного. Так вот, я пробыл в гостинной минут десять, беседуя с гигантского размера разодетыми великосветскими вдовами и занудными академиками, как вдруг заметил на себе чей-то взгляд. Я обернулся и впервые увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что бледнею. На меня нахлынуло странное ощущение ужаса. Я понял, что встретился лицом к лицу с человеком, чья личность настолько завораживает, что, если я поддамся, она поглотит меня целиком — мою природу, душу и даже искусство. А мне совершенно не нужно никакого внешнего воздействия на мою жизнь. Ты ведь знаешь, Гарри: я человек по характеру независимый. Я всегда сам себе хозяин; по крайней мере, так было, пока я не встретил Дориана Грея. И тогда... не знаю, как тебе это объяснить. Как будто мне был дан знак, что я на пороге ужасного жизненного кризиса. У меня возникло удивительное ощущение, будто судьба приготовила мне изысканные наслаждения и столь же изысканные страдания. Я испугался и повернулся, чтобы уйти. Причем совершенно машинально, из трусости. Не могу поставить себе в заслугу эту попытку сбежать.

— В сущности, сознание и трусость — это одно и то же, Бэзил. Сознание — торговая марка фирмы, не более.

— Не верю я этому, Гарри, и полагаю, что ты тоже не веришь. Но какие бы мотивы мной ни руководили — это могла бы быть и гордость, ибо когда-то я был большим гордецом, — я действительно стал пробиваться к двери. И там, конечно, наткнулся на леди Брэндон. «Неужели вы собираетесь удрать так рано, мистер Холлуорд?» — завопила она. Припомнишь, какой у нее на редкость пронзительный голос?

— Да уж, она и впрямь похожа на павлина — во всем, кроме красоты, — ответил лорд Генри, кроша маргаритку своими длинными нервными пальцами.

— Мне не удалось от нее избавиться. Она подвела меня к высочайшим особам, к кавалерам всяческих орденов, к пожилым дамам в гигантских диадемах и с носами, как у попугаев. Представляла меня всем как дражайшего друга. Хотя до того мы встречались лишь однажды, но она вбила себе в голову, что я знаменитость. Одна из моих картин как будто пользовалась тогда большим успехом, по крайней мере о ней болтали в грошовых газетенках, а в девятнадцатом веке это уже заявка

на бессмертие. Неожиданно я оказался лицом к лицу с молодым человеком, внешность которого так странно меня взволновала. Мы стояли совсем рядом, почти касаясь друг друга. Наши глаза снова встретились. И я поступил опрометчиво: попросил леди Брэндон меня представить. Хотя, возможно, опрометчивость тут ни при чем. Это было неизбежно. Мы разговорились бы и не будучи представленными. Нисколько в этом не сомневаюсь. И Дориан потом сказал мне то же самое. Он, как и я, почувствовал, что наша встреча была predetermined.

— И как леди Брэндон описала этого удивительного молодого человека? — спросил приятель художника. — Я знаю, что она любит давать быстрое *précis** всем своим гостям. Помню, как она подвела меня к краснелицему старому джентльмену свирепого вида, с ног до головы увешанному орденами и лентами, и трагическим шепотом сообщила мне на ухо самые поразительные подробности его жизни, причем ее прекрасно слышали все, кто был в зале. Я сразу же ретировался. Предпочитаю сам судить о людях. Но леди Брэндон относится к своим гостям как аукционист к выставленным на продажу лотам. Рассказывает о них либо все самое сокровенное, либо все, кроме того, что хочется знать.

— Бедняжка леди Брэндон! Ты жесток к ней, Гарри! — рассеянно отозвался Холлуорд.

— Мой дорогой друг, она попыталась организовать у себя *салон*, а на деле открыла ресторан. Как после этого я могу ею восхищаться? Однако скажи, что она сообщила тебе о мистере Дориане Грее.

— Ну, что-то вроде: «Очаровательный мальчик... мы с его бедной матерью были совершенно неразлучны. Не припомню, чем он занимается... боюсь, он вообще ничем не занимается... ах да, играет на рояле... или на скрипке... верно, дорогой мистер Грей?» Мы оба, не выдержав, рассмеялись и сразу же стали друзьями.

— Смех — не такое уж плохое начало дружбы и поистине прекрасное ее завершение, — сказал молодой лорд, срывая другую маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Ты не знаешь, что такое дружба, Гарри, — тихо сказал он, — и что такое вражда, раз уж на то пошло. Тебе все нравится, а это значит, что ты ко всем равнодушен.

— Ты ко мне страшно несправедлив! — воскликнул лорд Генри, сдвинув шляпу на затылок и взглянув вверх на небольшие облачка, которые, словно растрепанные мотки лоснящегося белого шелка, проплывали по бирюзовому куполу летнего неба. — Да, страшно несправедлив. Я по-разному отношусь к людям. В друзья я выбираю людей красивых, в знакомые — людей с хорошим характером, а врагами делаю тех, кто умен. При выборе врагов нужно быть особенно внимательным. У меня среди них нет ни одного глупца. Все наделены определенными

* Краткая характеристика (фр.). Здесь и далее примечания переводчика.





интеллектуальными способностями и поэтому меня ценят. Думаешь, я очень тщеславен? Да, пожалуй, тщеславен.

— Не стану спорить, Гарри. Но по твоей классификации я для тебя всего лишь знакомый.

— Дорогой мой Бэзил, ты гораздо больше, чем знакомый.

— И гораздо меньше, чем друг. Кто-то вроде брата, полагаю?

— Ох уж эти братья! Не люблю я их. Мой старший все никак не умрет, а младшие только этим и занимаются.

— Гарри! — нахмурился Холлуорд.

— Милый мой, я говорю это не вполне серьезно. Но должен признать, что с трудом выношу своих родных. Вероятно, все дело в том, что никому из нас не нравится, когда другие обладают теми же недостатками, что и мы. Я весьма сочувствую буйству английских демократов, клеймящих то, что они называют пороками высшего общества. Народные массы считают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть исключительно их прерогативой, и поэтому, когда любой из нас оказывается ослом, он залезает на их территорию. Когда бедняга Саутворк предстал перед судом на бракоразводном процессе, народное возмущение было поистине грандиозным. Однако я не думаю, что хотя бы десять процентов пролетариев живут честно.

— Я не верю ни единому твоему слову. Более того, Гарри, ты тоже наверняка не веришь.

Лорд Генри погладил свою каштановую эспаньолку и тростью из черного дерева с кисточкой постучал по носку лакированного ботинка.

— Ты англичанин до мозга костей, Бэзил! Уже второй раз я от тебя это слышу. Если кто-то высказывает истинному англичанину некую идею — опрометчивое, надо заметить, дело, — тот даже не пытается понять, верна ли сама идея. Для него важно лишь одно: верит в нее говорящий или нет. Однако же ценность идеи не имеет никакого отношения к искренности человека, ее высказавшего. В сущности, вероятность такова, что чем менее искренен человек, тем чище в интеллектуальном плане его идея, поскольку в данном случае к ней не будут примешиваться его намерения, желания или предрассудки. Но я не собираюсь обсуждать с тобой политику, социологию или метафизику. Людей я люблю больше принципов, а людей беспринципных люблю больше всего на свете. Расскажи мне о мистере Дориане Грее. Как часто вы видитесь?

— Ежедневно. Я был бы несчастлив, если бы не видел его каждый день. Он мне абсолютно необходим.

— Поразительно! Мне казалось, тебя не волнует ничего, кроме твоего искусства.

— Теперь он и есть мое искусство, — со всей серьезностью сказал художник. — Иногда я думаю, Гарри, что в мировой истории существуют лишь две эры, которые по-настоящему значимы. Первая — это появление

нового средства в искусстве, а вторая — появление новой личности для искусства. Когда-нибудь лицо Дориана Грея станет для меня тем же, чем было изобретение масляной живописи для венецианцев и лицо Антиноя для поздней греческой скульптуры. Я не просто пишу его, рисую, делаю наброски. Без этого, конечно, не обходится. Но он значит для меня гораздо больше, чем модель, натурщик. Я не стану тебе говорить, что я доволен портретом или что красоту Дориана Грея не может передать искусство. На свете нет ничего, что искусство не могло бы передать, и я знаю, что с тех пор, как мы с ним встретились, я сделал много хороших работ, лучших в своей жизни. Но каким-то странным образом — не знаю, понимаешь ли ты меня, — его личность подсказала мне совершенно новый стиль в искусстве и совершенно новую манеру живописи. Теперь я иначе смотрю на вещи и думаю о них по-другому. Я могу воссоздать жизнь способом, который раньше был от меня скрыт. «Мечта о форме в дни раздумий»² — кто это сказал? Не помню. Но именно этим стал для меня Дориан Грей. Само зримое присутствие этого юноши — ибо для меня он всего лишь юноша, хотя ему уже минуло двадцать, — само его зримое присутствие — ах, не знаю, можешь ли ты понять, что все это значит! Неосознанно он раскрыл мне приемы совершенно новой школы — школы, в которой содержится вся страстность романтического духа, все совершенство духа греков. Гармония души и тела — как это много! Мы в своем безумии разделили их и придумали вульгарный реализм и пустой идеализм. Гарри, если бы ты только знал, что для меня значит Дориан Грей! Помнишь тот мой пейзаж, за который Эгнью давал огромную цену, а я не смог с ним расстаться? Это одна из лучших моих вещей. Но почему так вышло? Потому что, когда я писал его, рядом сидел Дориан Грей. От него ко мне шли какие-то тонкие флюиды, и впервые в жизни я увидел в обычном лесу тайну, которую всегда искал и никогда не находил.

— Потрясающе, Бэзил! Я просто должен увидеть Дориана Грея.

Холлуорд поднялся и прошелся по саду. Через некоторое время он вернулся к скамье.

— Гарри, — сказал он, — Дориан Грей для меня лишь мотив в искусстве. Ты, возможно, ничего в нем не увидишь. Тогда как я вижу всё. Сильнее всего его присутствие ощущается в моей работе, хотя самого его там нет. Как я уже говорил, он подсказал мне новую манеру. Я обнаруживаю его в изгибах некоторых линий, в прелестной изысканности красок. Но не более того.

— Тогда почему бы тебе не выставить его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что совершенно ненамеренно я вложил в свою картину это странное проявление художественного идолопоклонства, о котором, конечно, я никогда даже не заговаривал с Дорианом Греем. Он ни о чем не подозревает. И никогда о нем не узнает. Но публика





может догадаться, а я не собираюсь обнажать свою душу перед их пустыми, рыскающими глазками. Я не отдам свое сердце под их микроскоп. В этой вещи слишком много моего «я», Гарри, слишком много!

— Поэты не так щепетильны, как ты. Им известно, как сильные чувства полезны для тиража. В наше время разбитое сердце выдерживает множество переизданий.

— И я их за это презираю! — воскликнул Холлуорд. — Художник должен создавать прекрасные вещи, но не следует вмешивать туда собственную жизнь. Мы живем в эпоху, когда люди относятся к искусству так, будто это вид автобиографии. Мы утратили абстрактное восприятие красоты. Когда-нибудь я покажу миру, что это такое, и по этой же причине мир никогда не увидит мой портрет Дориана Грея.

— Думаю, ты ошибаешься, Бэзил. Но не буду спорить. Спорят всегда лишь те, кто проигрывают в интеллекте. Скажи, а Дориан Грей к тебе сильно привязан?

На несколько мгновений художник задумался.

— Я ему нравлюсь, — ответил он после паузы. — Уверен, что нравлюсь. Конечно, я лщу ему безоглядно. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему слова, о которых я потом наверняка пожалею. Обыкновенно он бывает очарователен, мы сидим в мастерской и беседуем о тысяче разных предметов. Впрочем, временами он становится ужасно эгоистичным и, кажется, получает истинное удовольствие, причиняя мне боль. И тогда, Гарри, я чувствую, что отдал этому человеку всю свою душу, а она для него все равно что цветок для бутоньерки, вещица, которая тешит его тщеславие, или украшение летнего дня.

— Летние дни, Бэзил, тянутся долго, — тихо проговорил лорд Генри. — Может, он надоест тебе быстрее, чем ты ему. Грустно об этом думать, но Гений, несомненно, долговечнее Красоты. По этой причине мы с таким упорством сверх всякой меры увеличиваем свои познания. В дикой борьбе за существование нам требуется что-то жизнестойкое, и мы забиваем себе голову разной ерундой и множеством фактов в глупейшей надежде удержаться на плаву. Современный идеал — это человек исключительной осведомленности. А мозг у такого человека — кошмарная вещь. Он похож на пыльную антикварную лавку с ее чудовищным содержанием и ценами, превышающими истинную стоимость вещей. Да, я думаю, что ты устанешь от него первым. Наступит день, когда ты посмотришь на своего друга и сочтешь, что он не годится для твоего карандаша, или тебе не понравится оттенок или цвет его лица, или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь его и серьезно решишь, что он повел себя с тобой очень дурно. Когда он заглянет в мастерскую в следующий раз, ты будешь с ним исключительно холоден и безразличен. Об этом можно лишь сожалеть, потому что ты сам переменишься. Рассказанное тобой звучит как романтическая история, и я бы назвал ее романтической историей в искусстве, однако самое плохое в любой



Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Проза:

